

Болото — текст 2 из 2

Летний вечер гаснет. В засыпающем лесу стоит гулкая тишина. Вершины огромных строевых сосен еще алеют нежным отблеском догоревшей зари, но внизу уже стало темно и сыро. Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей слабеет, зато сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым тянуло весь день с дальнего лесного пожарища. Неслышно и быстро опускается на землю мягкая северная ночь. Птицы замолчали с заходом солнца. Одни только дятлы еще выбивают лениво, точно сквозь сон, свою глухую, монотонную дробь.

Вольнопрактикующий землемер Жмакин и студент Николай Николаевич, сын небогатой вдовы-помещицы Сердюковой, возвращаются со съемки. Идти домой, в Сердюковку, им поздно и далеко: они заночуют сегодня в казенном лесу, у знакомого лесника — Степана. Узкая тропинка вьется между деревьями, исчезая в двух шагах впереди. Высокий и худой землемер идет, сгорбившись и опустив вниз голову, — идет тем редким, приседающим, но размашистым шагом, каким ходят привычные к длинным дорогам люди: мужики, охотники и землемеры. Коротконогий, низенький и полный студент едва поспевает за ним. Он вспотел и тяжело дышит открытым ртом; белая фуражка сбита на затылок; рыжеватые спутанные волосы упали на лоб; пенсне сидит боком на мокром носу. Ноги его то скользят и разъезжаются по прошлогодней, плотно улежавшейся хвое, то с грохотом цепляются за узловатые корневища, протянувшиеся через дорогу. Землемер отлично видит это, но нарочно не убавляет шагу. Он устал, зол и голоден. Затруднения, испытываемые студентом, доставляют ему злорадное удовольствие.

Землемер Жмакин делает, по приглашению госпожи Сердюковой, упрощенный план хозяйства в ее жиденьких, потравленных скотом и вырубленных крестьянами лесных урочищах. Николай Николаевич добровольно вызвался помогать ему. Помощник он старательный и толковый, и характер у него самый удобный для компании: светлый, ровный, бесхитростный и ласковый, только в нем много еще осталось чего-то детского, что сказывается в некоторой наивной торопливости и восторженности. Землемер же, наоборот, человек старый, одинокий, подозрительный и черствый. Всему уезду известно, что он подвержен тяжелым, продолжительным запоям, и потому на работу его приглашают редко и платят скупно.

Днем у него еще кое-как ладятся отношения с молодым Сердюковым. Но к вечеру землемер обыкновенно устает от ходьбы и от крика, кашляет и становится мелочно-раздражительным. Тогда ему снова начинает казаться, что студент только притворяется, что его интересует съемка и болтовня с крестьянами на привалах, а что на самом деле он приставлен помещицей с тайным наказом наблюдать, не пьет ли землемер во время работы. И то обстоятельство, что студент так живо, в неделю, освоился со всеми тонкостями астролябической съемки, возбуждает ревнивую и оскорбительную зависть в Жмакине, который три раза проваливался, держа экзамен на частного землемера. Раздражает старика и неудержимая разговорчивость Николая Николаевича, и его свежая, здоровая молодость, и заботливая опрятность в одежде, и мягкая, вежливая уступчивость, но мучительнее всего для Жмакина сознание своей собственной жалкой старости, грубости, пришибленности и бессильной, несправедливой злости.

Чем ближе подходит дневная съемка к концу, тем ворчливее и бесцеремоннее делается землемер. Он желчно подчеркивает промахи Николая Николаевича и обрывает его на каждом шагу. Но в студенте такая бездна молодой, неисчерпаемой доброты, что он, по-видимому, совершенно не способен обижаться. В своих ошибках он извиняется с трогательной готовностью, а на угловатые выходки Жмакина отвечает оглушительным хохотом, который долго и раскатисто гуляет между деревьями. Точно не замечая мрачного настроения землемера, он засыпает его шутками и расспросами с тем же веселым, немного неуклюжим и немного назойливым добродушием, с каким жизнерадостный щенок теребит за ухо большого, старого, угрюмого пса.

Землемер шагает молча и понуро. Николай Николаевич старается идти рядом с ним, но так как он путается между деревьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку. В то же время, несмотря на одышку, он говорит громко и горячо, с оживленными жестами и с неожиданными выкриками, от которых идет гул по заснувшему лесу.

— Я живу в деревне недолго, Егор Иваныч, — говорит он, стараясь сделать свой голос проникновенным, — и убедительно прижимает руку к груди. — И я согласен, я абсолютно согласен с вами в том, что я не знаю деревни. Но во всем, что я до сих пор видел, так много трогательного, и глубокого, и прекрасного... Ну да, вы, конечно, возразите, что я молод, что я увлекаюсь... Я и с этим готов согласиться, но, жестоковейный практик, поглядите на народную жизнь с философской точки зрения...

Землемер презрительно пожал одним плечом, усмехнулся криво и язвительно, но продолжал молчать.

— Посмотрите, дорогой Егор Иванович, какая страшная историческая древность во всем укладе деревенской жизни. Соха, борона, изба, телега — кто их выдумал? Никто. Весь народ скопом. Две тысячи лет тому назад эти предметы были точка в точку в таком же виде, как и теперь. Совсем так же люди тогда и сеяли, и пахали, и строились. Две тысячи лет тому назад!.. Но когда же, в какие чертовски отдаленные времена сложился этот циклопический обиход? Мы об этом не смеем даже думать, милый Егор Иванович. Здесь мы с вами проваливаемся в бездонную пропасть веков. Мы ровно ничего не знаем. Как и когда додумался народ до своей первобытной телеги? Сколько сотен, может быть тысяч, лет ушло на эту творческую работу? Черт его знает! — вдруг крикнул во весь голос студент и торопливо передвинул фуражку с затылка на самые глаза. — Я не знаю, и никто ничего не знает... И так — все, чего только ни коснись: одежда, утварь, лапти, лопаты, прялка, решето!.. Ведь поколения за поколениями миллионы людей последовательно ломали голову над их изобретением. У народа своя медицина, своя поэзия, своя житейская мудрость, свой великолепный язык, и при этом — заметьте — ни одного имени, ни одного автора! И хотя все это жалко и скудно в сравнении с броненосцами и телескопами, но — простите — меня какие-нибудь вилы удивляют и умиляют несравненно больше!..

— Ту-ру-ру, ти-лю-лю, — запел фальшиво Жмакин и завертел рукой, подражая шарманщику. — Завели машину. Удивляюсь, как это вам не надоест: каждый день одно и то же?

— Нет, Егор Иванович, ради бога! — заторопился студент. — Вы только послушайте, только послушайте меня. Мужик, куда он у себя ни оглянется, на что ни посмотрит, везде кругом него старая-престарая, седая и мудрая истина. Все освещено дедовским опытом, все просто, ясно и практично. А главное — абсолютно никаких сомнений в целесообразности труда. Возьмите вы доктора, судью, литератора. Сколько спорного, условного, скользкого в их профессиях! Возьмите педагога, генерала, чиновника, священника...

— Попросил бы не касаться религии, — внушительным басом заметил Жмакин.

— Ах, не в этом дело, Егор Иванович, — нетерпеливо и досадливо замахал рукой Сердюков. — Возьмите, наконец, прокурора, художника, музыканта. Я ничего не говорю, все это лица почтенные. Но каждому из них, наверное, хоть раз приходила в голову мысль: а ведь, черт побери, так ли уж нужен человечеству мой труд, как это кажется? У мужика же все удивительно стройно и ясно. Если ты весной посеял, то зимою ты сыт. Корми лошадь, и она тебя прокормит. Что может быть вернее и проще? И вот этого самого

практического мудреца извлекают за шиворот из недр его удобопонятной жизни и тычут лицом к лицу с цивилизацией. «В силу статьи такой-то и на основании кассационного решения за номером таким-то, крестьянин Иван Сидоров, нарушивший интересы чересполосного владения, приговаривается», и так далее. Иван Сидоров на это весьма резонно отвечает: «Ваше благородие, да ведь еще наши деды-прадеды пахали по эту вербу, вот и пень от нее остался». Но тогда является на сцену землемер Егор Иваныч Жмакин.

— Прошу без намеков по моему адресу, — обидчиво прервал Жмакин.

— Является... ну, скажем, землемер Сердюков, если это вам больше нравится, и изрекает: «Линия АВ, ограничивающая владения Ивана Сидорова, идет по румбу зюйд-ост, сорок градусов тридцать минут». Очевидно, что Иван Сидоров совместно с дедом и прадедом запахал чужую землю. И вот Иван Сидоров сидит в кутузке, сидит совершенно правильно, по всем статьям уложения о наказаниях, но все-таки он ровно ничего не понимает и хлопает глазами. Что значит для него ваш румб в сорок градусов, если он с молоком матери всосал убеждение, что чужой земли на свете не бывает, а что вся земля божья?..

— К чему вы все это выражаете? — угрюмо спросил Жмакин.

— Или вот еще: гонят Ивана Сидорова на военную службу, — горячо продолжал Сердюков, не слушая землемера. — И вот дядька учит его: «Доверни приклад, втяни живот, делай — рраз! Подавайся всем корпусом вперед...» Да позвольте же, господа! Я сам прослужил отечеству два месяца и охотно верю, что для военной службы эти кунштюки необходимы. Но ведь это же для мужика чистая абракадабра, колокольня в уксусе, сапоги всмятку! Как хотите, но не может же взрослый человек, оторванный от простой, серьезной и понятной жизни, поверить вам на слово, что эти фокусы действительно необходимы и имеют разумное основание. И, конечно, он глядит на вас, как баран на новые ворота.

— Не довольно ли на сегодняшний раз, Николай Николаевич? — сказал землемер. — Мне, по правде говоря, надоела уже эта антимония. Что-то вы такое из себя хотите изобразить, но толку у вас ничего не выходит. Какого-то донжуана из себя строите! И к чему весь этот разговор, не понимаю я.

Огибавший куст студент рысцой догнал мрачно шагавшего землемера.

— Вот вы сегодня утром говорили, что мужик глуп, что мужик ленив, мужика надо драть, мужик раздурачился. Говорили вы это с ненавистью и потому, конечно, были несправедливее, чем хотели бы. Но поймите же, дорогой Егор Иваныч, что у нас с мужиком разные измерения: он с трудом постигает

третье, а мы уже начинаем предчувствовать четвертое. Сказать, что мужик глуп! Послушайте, как он говорит о погоде, о лошади, о сенокосе. Чудесно: просто, метко, выразительно, каждое слово взвешено и прилажено... Но послушайте вы того же мужика, когда он рассказывает о том, как он был в городе, как заходил в театр и как по-благородному провел время в трактире с машиной... Какие хамские выражения, какие дурацкие, исковерканные слова, что за подлый, лакейский язык. Господа, нельзя же так! — воскликнул студент, обращаясь в пространство и разводя руками с таким видом, как будто весь лес был наполнен слушателями. — Ну да, я знаю, мужик беден, невежественен, грязен... Но дайте же ему вздохнуть. У него от вечной натуги грыжа, — историческая, социальная грыжа. Накормите его, вылечите, выучите грамоте, а не пришибайте его вашим четвертым измерением. Потому что я твердо уверен, что, пока вы не просветите народа, все ваши кассационные решения, румбы, нотариусы и сервитута будут для него мертвыми словами четвертого измерения!..

Жмакин вдруг резко остановился и повернулся к студенту.

— Николай Николаевич! Да прошу же я вас наконец! — воскликнул он плачущим, бабьим голосом. — Так вы много разговариваете, что терпение мое лопнуло. Не могу я больше, не желаю!.. Кажется, интеллигентный человек, а не понимает такой простой вещи. Ну, говорили бы дома или с товарищем своим. А какой же я вам товарищ, спрашивается? Вы сами по себе, я сам по себе, и... и не желаю я этих разговоров. Имею полное право...

Николай Николаевич боком, поверх стекол пенсне, поглядел на Жмакина. У землемера было необыкновенное лицо: спереди узкое, длинное и острое до карикатурности, но широкое и плоское, если глядеть на него сбоку, — лицо без фаса, а с одним только профилем и с унылым висячим носом. И в мягком, отчетливом сумраке позднего вечера студент увидел на этом лице такое скучное, тяжелое и сердитое отвращение к жизни, что у него сердце заняло мучительной жалостью. Сразу с какой-то проникновенною, больною ясностью он вдруг понял и почувствовал в самом себе всю ту мелочность, ограниченность и бесцельное недоброжелательство, которые наполняли скудную и одинокую душу этого неудачника.

— Да вы не сердитесь, Егор Иванович, — сказал он примирительно и смущенно.

— Я не хотел вас обидеть. Какой вы раздражительный!

— Раздражительный, раздражительный, — с бестолковою злостью подхватил Жмакин. — Вполне станешь раздражительным. Не люблю я этих разговоров...

вот что... Да и вообще, какая я вам компания? Вы человек образованный, аристократ, а я что? Серое существо — и ничего больше.

Студент разочарованно замолчал. Ему всегда становилось грустно, когда он в жизни натыкался на грубость и несправедливость. Он отстал от землемера и молча шел за ним, глядя ему в спину. И даже эта согнутая, узкая, жесткая спина, казалось, без слов, но с мрачной выразительностью говорила о нелепо и жалко проволочившейся жизни, о нескончаемом ряде пошлых обид судьбы, об упрямом и озлобленном самолюбии...

В лесу совсем стемнело, но глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте, различал вокруг неясные, призрачные силуэты деревьев. Был тихий, дремотный час между вечером и ночью. Ни звука, ни шороха не раздавалось в лесу, и в воздухе чувствовался тягучий, медвяный травяной запах, пливший с далеких полей.

Дорога шла вниз. На повороте в лицо студента вдруг пахнуло, точно из глубокого погреба, сырым холодком.

— Осторожнее, здесь болото, — отрывисто и не оборачиваясь сказал Жмакин.

Николай Николаевич только теперь заметил, что ноги его ступали неслышно и мягко, как по ковру. Вправо и влево от тропинки шел невысокий, путанный кустарник, и вокруг него, цепляясь за ветки, колеблясь и вытягиваясь, бродили разорванные неясно-белые клочья тумана. Станный звук неожиданно пронесся по лесу. Он был протяжен, низок и гармонично-печален и, казалось, выходил из-под земли. Студент сразу остановился и затрясся на месте от испуга.

— Что это, что? — спросил он дрожащим голосом.

— Выпь, — коротко и угрюмо ответил землемер. — Идемте, идемте. Это плотина.

Теперь ничего нельзя было разобрать. И справа и слева туман стоял сплошными белыми мягкими пеленами. Студент у себя на лице чувствовал его влажное и липкое прикосновение. Впереди равномерно колыхалось темное расплывающееся пятно: это была спина шедшего впереди землемера. Дороги не было видно, но по сторонам от нее чувствовалось болото. Из него подымался тяжелый запах гнилых водорослей и сырых грибов. Почва плотины пружинилась и дрожала под ногами, и при каждом шаге где-то сбоку и внизу раздавалось жирное хлюпанье просачивающейся тины.

Землемер вдруг остановился. Сердюков с размаху уткнулся лицом ему в спину.

— Тише. Эк вас несет! — сердито огрызнулся Жмакин. — Подождите, я покричу лесника. Еще ухнешь, пожалуй, в эту чертову трясину.

Он приложил ладони трубой ко рту и закричал протяжно:

— Степ-а-ан!

Уходя в мягкую бездну тумана, голос его звучал слабо и бесцветно, точно он отсырел в мокрых болотных испарениях.

— А, черт его знает, куда тут идти! — злобно проворчал, стиснув зубы, землемер. — Впору хоть на четвереньках ползти. Степ-а-ан! — крикнул он еще раз раздраженным и плачущим голосом.

— Степан! — поддержал отрывистым и глухим басом студент.

Они долго кричали, по очереди, кричали до тех пор, пока в страшном отдалении от них туман не засветился в одном месте большим, желтым, бесформенным сиянием. Но это светящееся мутное пятно, казалось, не приближалось к ним, а медленно раскачивалось влево и вправо.

— Степан, ты, что ли? — крикнул в эту сторону землемер.

— Гоп-гоп! — отозвался из бесконечной дали задущенный голос. — Никак Егор Иваныч?

Мутное пятно в одно мгновение приблизилось, разрослось, весь туман вокруг сразу засиял золотым дымным светом, чья-то огромная тень заметалась в освещенном пространстве, и из темноты вдруг вынырнул маленький человек с жестяным фонарем в руках.

— Так и есть, он самый, — сказал лесник, подымая фонарь на высоту лица. — А это кто с вами? Никак сердюковский барчук? Здравия желаем, Миколай Миколаич. Должно, ночевать будете? Милости просим. А я-то думаю себе: кто такой кричит? Ружье захватил на всякий случай.

В желтом свете фонаря лицо Степана резко и выпукло выделялось из мрака. Все оно сплошь заросло русыми, курчавыми, мягкими волосами бороды, усов и бровей. Из этого леса выглядывали только маленькие голубые глаза, вокруг которых лучами расходились тонкие морщинки, придававшие им всегдашнее выражение ласковой, усталой и в то же время детской улыбки.

— Так пойдёмте, — сказал Степан и, повернувшись, вдруг исчез, как будто растаял в тумане. Большое желтое пятно его фонаря закачалось низко над землей, освещая кусочек узкой тропинки.

— Ну, что, Степан, все еще трясет тебя? — спросил Жмакин, идя вслед за лесником.

— Все трясет, батюшка Егор Иванович, — ответил издали голос невидимого Степана. — Днем еще крепимся понемногу, а как вечер, так и пошло трясти. Да ведь, Егор Иванович, ничего не поделаешь... Привыкли мы к этому.

— А Марье не лучше?

— Где уж там лучше. И жена и ребятишки все извелись, просто беда. Грудной еще ничего покуда, да к ним, конечно, не пристанет... А мальчонку, вашего крестника, на прошлой неделе свезли в Никольское. Это уж мы третьего по счету схоронили... Позвольте-ка, Егор Иванович, я вам посвечу. Поосторожнее тут.

Сторожка лесника, как успел заметить Николай Николаевич, была поставлена на сваях, так что между ее полом и землею оставалось свободное пространство, аршина в два высоту. Раскосая, крутая лестница вела на крыльцо, Степан светил, подняв фонарь над головой, и, проходя мимо него, студент заметил, что лесник весь дрожит мелкой, ознобной дрожью, ежась в своем сером форменном кафтане и пряча голову в плечи.

Из отворенной двери пахнуло теплым, прелым воздухом мужичьего жилья вместе с кислым запахом дубленых полушубков и печеного хлеба. Землемер первый шагнул через порог, низко согнувшись под притолкой.

— Здравствуй, хозяйшка! — сказал он приветливо и развязно.

Высокая, худая женщина, стоявшая у открытого устья печи, слегка повернулась в сторону Жмакина, сурово и безмолвно поклонилась, не глядя на него, и опять закопошилась у шестка. Изба у Степана была большая, но закопченная, пустая и холодная и потому производила впечатление заброшенного, нежилого места. Вдоль двух темных бревенчатых стен, сходясь к переднему углу, шли узкие и высокие дубовые скамейки, неудобные ни для лежания, ни для сиденья. Передний угол был занят множеством совершенно черных образов, а вправо и влево висели, приклеенные к стенам хлебным мякишем, известные лубочные картины: страшный суд со множеством зеленых чертей и белых ангелов с овечьими лицами, притча о богатом и Лазаре, ступени человеческой жизни, русский хоровод. Весь противоположный угол, тот, что был сейчас же влево от входа, занимала

большая печь, разъехавшаяся на треть избы. С нее глядели, свесившись вниз, две детские головки, с такими белыми, выгоревшими на солнце волосами, какие бывают только у деревенских ребятишек. Наконец у задней стены стояла широкая, двухспальная кровать с красным ситцевым пологом. На ней, далеко не доставая ногами до пола, сидела девочка лет десяти. Она качала скрипучую детскую люльку и с испугом в огромных светлых глазах глядела на вошедших.

В углу, перед образом, стоял пустой стол, и над ним на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас же ему стало так скучно и тяжело, как будто бы он уже пробыл здесь много-много часов в томительном и вынужденном бездействии. От лампы шел керосиновый чад, и запах его вызвал в уме Сердюкова какое-то далекое, смутное, как сон, воспоминание. Где и когда это было? Он сидел один в пустой, сводчатой, гулкой комнате, похожей на коридор; пахло едким чадом керосиновой лампы; за стеной с усыпляющим звоном, капля по капле падала вода на чугунную плиту, а в душе Сердюкова была такая длительная, серая, терпеливая скука.

— Поставь нам самоварчик, Степан, и взбодри яишенку, — приказал Жмакин.

— Сейчас, батюшка Егор Иванович, сейчас, — засуетился Степан. — Марья, — неуверенно обратился он к жене, — как бы ты там постаралась самовар? Господа будут чай пить.

— Да уж ладно. Не толкись, толкач, — с неудовольствием отозвалась Марья.

Она вышла в сени. Землемер покрестился на образа и сел за стол. Степан поместился поодаль от господ, на самом краю скамейки, там, где стояли ведра с водой.

— А я думаю себе, кто такой кричит? — начал добродушно Степан. — Уж не лесничий ли наш? Да нет, думаю, куда ему ночью, — он ночью и дороги сюда не найдет. Чудной он у нас барин. Непременно чтобы ему лесники ружьем на-караул делали, по-солдатски. Первое для него удовольствие. Выйдешь с ружьем и, конечно, рапортуешь: «Ваше-скородие, во вверенном мне обходе чернятинской лесной дачи все обстоит благополучно...» Ну, а, впрочем, барин ничего, справедливый. А что касается, что девок он портит, ну это, конечно, не наше дело...

Он замолчал. Слышно было, как рядом, в сенях, Марья со звоном накладывала угли в самовар, как на печке громко дышали дети. Люлька продолжала скрипеть монотонно и жалобно. Сердюков взгляделся внимательнее в лицо

девочки, сидевшей на кровати, и оно поразило его своею болезненною красотою и необычайным, непередаваемым выражением. Черты этого лица, несмотря на некоторую одутловатость щек, были так нежны и тонки, что казались нарисованными без теней и без красок на прозрачном фарфоре, и тем ярче выступали среди них неестественно большие, светлые, прекрасные глаза, которые глядели с задумчивым и наивным удивлением, как глаза у святых девственниц на картинах прерафаэлитов.

— Как тебя зовут, красавица? — спросил ласково студент.

Большеглазая девочка закрыла лицо руками и быстро спряталась за полог.

— Бойтся. Ну чего ты, глупая? — сказал Степан, точно извиняясь за дочь. Он неловко и добродушно улыбнулся, отчего все его лицо ушло в бороду и стало похоже на свернувшегося клубком ежа. — Варей ее звать. Да ты не бойся, дурочка, барин добрый, — успокаивал он девочку.

— И она тоже больна? — спросил Николай Николаевич.

— Что-с? — переспросил Степан. Густая щетина на его лице разошлась, и опять из нее выглянули добрые усталые глаза. — Больная, вы спрашиваете? Все мы тут больные. И жена, и эта вот, и те, что на печке. Все. Во вторник третье дитя хоронили. Конечно, местность у нас сырая, эта главное. Трясемся вот, и шабаш!..

— Лечились бы, — сказал, покачав головой, студент. — Зайди как-нибудь ко мне в Сердюковку, я хины дам.

— Спасибо, Миколай Миколаевич, дай вам бог здоровья. Пробовали мы лечиться, да что-то ничего не выходит, — безнадежно развел руками Степан. — Трое вот, конечно, умерли у меня... Главная сила, мокреть здесь, болото, ну и дух от него тяжелый, ржавый.

— Отчего же вы не переведетесь куда-нибудь в другое место?

— Чего-с? Да, в другое место, вы сказываете? — опять переспросил Степан. Казалось, он не сразу понимал то, что ему говорят, и с видимым усилием, точно стряхивая с себя дремоту, направлял на слова Сердюкова свое внимание. — Оно бы, барин, чего лучше перевестись. Да ведь все равно кому-нибудь и здесь жить надо. Дача, конечно, аграматная, и без лесника никак невозможно. Не мы — так другие. До меня в этой самой сторожке жил лесник Галактион, трезвый был такой человек, самостоятельный... Ну, конечно, похоронил сначала двоих ребяток, потом жену, а потом и сам помер.

Я так полагаю, Миколай Миколаич, что это все равно, где жить. Уж батюшка, царь небесный, он лучше знает, кому где надлежит жить и что делать.

Марья вошла с самоваром, отворив и затворив за собою дверь локтем.

— Уселся, трутень безмедовый! — накинулась она на Степана. — Подай хоть чашки-то!..

Она с такою силой поставила на стол самовар, точно хотела бросить его. Лицо у нее было не по летам старое, изможденное, землистого цвета; на щеках сквозь кору мелких, частых морщин горел нездоровый кирпичный румянец, а глаза неестественно сильно блестели. С таким же сердитым видом она швырнула на стол чашки, блюдечки и каравай хлеба.

Сердюков отказался от чая. Он сидел расстроенный, недоумевающий, удрученный всем, что он видел и слышал сегодня. Мелочное, бессильно-язвительное недоброжелательство землемера, тихая покорность Степана перед таинственной и жестокой судьбой, молчаливое раздражение его жены, вид детей, медленно, один за другим, умирающих от болотной лихорадки, — все это сливалось в одно гнетущее впечатление, похожее на болезненную, колючую, виноватую жалость, которую мы чувствуем, глядя пристально в глаза умной больной собаки или в печальные глаза идиота, которая овладевает нами, когда мы слышим или читаем про добрых, ограниченных и обманутых людей. И здесь, казалось Сердюкову, в этой бедной, узкой и скучной жизни, был чей-то злой и несправедливый обман.

Землемер молча пил чашку за чашкой и жадно ел хлеб, откусывая прямо от ломтя большими полукруглыми кусками. Во время еды связки сухожилий ходили у него под скулами, точно пучки струн, обтянутых тонкою кожей, а глаза глядели равнодушно и тускло, как глаза жующего животного. Из всей семьи только один Степан согласился, после долгих уговоров, выпить чашку чаю. Он пил ее долго и шумно, дуя на блюдечко, вздыхая и с треском грызя сахар. Окончив чай, он перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся у него в руках крошечный кусочек сахара бережливо положил обратно в засиженную мухами жестяную коробочку.

Вяло и тоскливо тянулось время, и Сердюков думал о том, как много еще будет впереди скучных и длинных вечеров в этой душной избе, затерявшейся одиноким островком в море сырого, ядовитого тумана. Потухавший самовар вдруг запел тонким воющим голосом, в котором слышалось привычное безысходное отчаяние. Люлька не скрипела больше, но в углу за печкой однообразно, через правильные промежутки, кричал, навевая дремоту, сверчок. Девочка, сидевшая на кровати, уронила руки между колен и

задумчиво, как очарованная, глядела на огонь лампы. Ее громадные, с неземным выражением глаза еще больше расширились, а голова склонилась набок с бессознательной и покорной грацией. О чем думала она, что чувствовала, глядя так пристально на огонь? Временами ее худенькие ручки тянулись в долгой, ленивой истоме, и тогда в ее глазах мелькала на мгновение странная, едва уловимая улыбка, в которой было что-то лукавое, нежное и ожидающее: точно она знала, тайком от остальных людей, о чем-то сладком, болезненно-блаженном, что ожидало ее в тишине и в темноте ночи. И в голову студента пришла странная, тревожная, почти суеверная мысль о таинственной власти болезни над этой семьей. Глядя в необыкновенные глаза девочки, он думал о том, что, может быть, для нее не существует обыкновенной, будничной жизни. Медленно и равнодушно проходит для нее длинный день, с его однообразными заботами, с его беспокойным шумом и суетой, с его назойливым светом. Но наступает вечер, и вот, вперив глаза в огонь, девочка томится нетерпеливым ожиданием ночи. А ночью дух неизлечимой болезни, измозживший слабое детское тело, овладевает ее маленьким мозгом и окутывает его дикими, мучительно-блаженными грезами...

Где-то давным-давно Сердюков видел сепию известного художника. Картина эта так и называлась «Малярия». На краю болота, около воды, в которой распустились белые кувшинки, лежит девочка, широко разметав во сне руки. А из болота вместе с туманом, теряясь в нем легкими складками одежды, подымается тонкий, неясный призрак женской фигуры с огромными дикими глазами и медленно, страшно медленно тянется к ребенку. Сердюков вспомнил вдруг эту забытую картину и тотчас же почувствовал, как мистический страх холодной щеткой прополз у него по спине от затылка до поясицы.

— Ну-с, в Америке такой обычай: посидят, посидят, да и спать, — сказал землемер, вставая со стула. — Стели-ка нам, Марья.

Все поднялись с своих мест. Девочка заложила за голову сцепленные пальцы рук и сильно потянулась всем телом. Она зажмурила глаза, но губы ее улыбались радостно и мечтательно. Зевая и потягиваясь, Марья принесла две больших охапки сена. С лица ее сошло сердитое выражение, блестящие глаза смотрели мягче, и в них было то же странное выражение нетерпеливого и томного ожидания.

Покуда она сдвигала лавки и стелила на них сено, Николай Николаевич вышел на крыльцо. Ни впереди, ни по сторонам ничего не было видно, кроме плотного, серого, влажного тумана, и высокое крыльцо, казалось, плавало в

нем, как лодка в море. И когда он вернулся обратно в избу, то его лицо, волосы и одежда были холодны и мокры, точно они насквозь пропитались едким болотным туманом.

Студент и землемер легли на лавки, головами под образа и ногами врозь. Степан устроился на полу, около печки. Он потушил лампу, и долго было слышно, как он шептал молитвы и, кряхтя, укладывался. Потом откуда-то прошмыгнула на кровать Марья, бесшумно ступая босыми ногами. В избе было тихо. Только сверчок однообразно, через каждые пять секунд, издавал свое монотонное, усыпляющее цыркание, да муха билась об оконное стекло и настойчиво жужжала, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу.

Несмотря на усталость, Сердюков не мог заснуть. Он лежал на спине с открытыми глазами и прислушивался к осторожным ночным звукам, которые в темноте, во время бессонницы, приобретают такую странную отчетливость. Землемер заснул почти мгновенно. Он дышал открытым ртом, и казалось, что при каждом вздохе у него в горле лопалась тоненькая перепонка, сквозь которую быстро и сразу прорывался задержанный воздух. Девочка, лежавшая на кровати рядом с матерью, вдруг проговорила торопливо и неясно длинную фразу... Двое детей на печке дышали часто и усиленно, точно стараясь сдунуть со своих губ палящий лихорадочный зной... Степан тихо, протяжно стонал при каждом вздохе.

— М-а-а-мка, пи-и-ить! — капризно и сонно запросил детский голос.

Марья послушно вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами к ведру. Студент слышал, как заплескалась вода в железном ковше и как ребенок долго и жадно пил большими, громкими глотками, останавливаясь, чтобы перевести дух. И опять все стихло. Размеренно лопалась в груди землемера тонкая перепонка, жалобно билась о стекло муха, и часто, часто, как маленькие паровозики, дышали детские грудки. Старшая девочка вдруг проснулась и села на кровати. Она долго силилась что-то выговорить, но не могла и только стучала зубами в страшном ознобе. «Хо-о-ло-дно!» — расслышал, наконец, Сердюков прерывистые, заикающиеся звуки. Марья со вздохами и нежным шепотом укутала девочку тулупом, но студент долго еще слышал в темноте сухое и частое щелканье ее зубов.

Сердюков напрасно употреблял все знакомые ему средства, чтобы уснуть. Считал он до ста и далее, повторял знакомые стихи и *jus'ы* из пандектов, старался представить себе блестящую точку и волнующуюся поверхность моря. Но испытанные средства не помогали. Кругом часто и

жарко дышали больные груди, и в душной темноте чудилось таинственное присутствие кровожадного и незримого духа, который, как проклятие, поселился в избе лесника.

Около кровати заплакал ребенок. Мать спросонья толкнула люльку и, сама борясь с дремотой, запела под жалобный скрип веревок старинную колыбельную песню:

Аа-аа-аа-а!

И все лю-ю-ди-и спят,

И все зве-е-ри-и спят...

Лениво и зловеще раздавалась в тишине, переходя из полутона в полутон, эта печальная, усыпляющая песня, и чем-то древним, чудовищно далеким веяло от ее наивной, грубой мелодии. Казалось, что именно так, хотя и без слов, должны были петь загадочные и жалкие полулюди на заре человеческой жизни, глубоко за пределами истории. Вымирающие, подавленные ужасами ночи и своею беспомощностью, сидели они голые в прибрежных пещерах, у первобытного огня, глядели на таинственное пламя и, обхватив руками острые колени, качались взад и вперед под звуки унылого, бесконечно долгого, воющего мотива.

Кто-то постучал снаружи в окно, над самой головой студента, который вздрогнул от неожиданности. Степан поднялся с полу. Он долго стоял на одном месте, чмокал губами и, точно жалея расстаться с дремотой, лениво чесал грудь и голову. Потом, сразу очнувшись, он подошел к окну, прильнул к нему лицом и крикнул в темноту:

— Кто там?

— Гу-у-у, — глухо, через стекло, загудел чей-то голос.

— В Кислинской? — спросил вдруг Степан невидимого человека. — Ага, слышу. Поезжай с богом, я сейчас.

— Что? Что такое, Степан? — тревожно спросил студент.

Степан шарил наугад рукой в печке, ища спичек.

— Эх... идтить надо-ть, — сказал он с сожалением. — Ну, да ничего не поделаешь... Пожар, видишь, перекинулся к нам в Кислинскую дачу, так вот лесничий велел всех лесников согнать... Сейчас объездчик приезжал верхом.

Вздыхая, кряхтя и позевывая, Степан зажег лампу и оделся. Когда он вышел в сени, Марья быстро и легко скользнула с кровати и пошла затворить за ним

двери. Из сеней вдруг ворвался в нагретую комнату вместе с холодом, точно чье-то ядовитое дыхание, гнилой, приторный запах тумана.

— Взял бы фонарь-то с собою, — сказала за дверями Марья.

— Чего там! С фонарем еще хуже дорогу потеряешь, — ответил глухо, точно из-под полу, спокойный голос Степана.

Опершись подбородком о подоконник, Сердюков прижался лицом к стеклу. На дворе было темно от ночи и серо от тумана. Из отверстий, которые оставались между рамой и плохо пригнанными стеклами, дул острыми, тонкими струйками холодный воздух. Под окном слышались тяжелые торопливые шаги Степана, но его самого не было видно, — туман и ночь поглотили его. Без рассуждений, без жалоб, разбитый лихорадкой, он встал среди ночи и пошел в эту сырую тьму, в это ужасное, таинственное безмолвие. Здесь было что-то совершенно непонятное для студента. Он вспомнил сегодняшнюю вечернюю дорогу, мутно-белые завесы тумана по сторонам плотины, мягкое колебание почвы под ногами, низкий протяжный крик выпи, — и ему стало нестерпимо, по-детски жутко. Какая загадочная, невероятная жизнь копошилась по ночам в этом огромном, густом, местами бездонном болоте? Какие уродливые гады извивались и ползали в нем между мокрым камышом и корявыми кустами вербы? А Степан шел теперь через это болото совсем один, тихо повинувшись судьбе, без страха в сердце, но дрожа от холода, от сырости и от пожиравшей его лихорадки, от той самой лихорадки, которая унесла в могилу трех его детей и, наверное, унесет остальных. И этот простосердечный человек, с его наёженной бородой и кроткими, усталыми глазами, был теперь непостижим, почти жуток для Сердюкова.

На студента нашло тяжелое, чуткое забытие. Он видел бледные, неясные образы лиц и предметов и в то же время сознавал, что спит, и говорил себе: «Ведь это сон, это мне только кажется...» В смутных и печальных грезах мешались все те же самые впечатления, которые он переживал днем: съемка в пахучем сосновом лесу, под солнечным припеком, узкая лесная тропинка, туман по бокам плотины, изба Степана и он сам с его женой и детьми. Снилось также Сердюкову, что он горячо, до боли в сердце, спорит с землемером. «К чему эта жизнь? — говорит он со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и в смерти милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный вампир? Какой ответ, какое оправдание может дать судьба в их страданиях?» Но землемер досадливо морщился и отворачивал лицо. Ему давно надоели философские разговоры. А Степан стоял тут же и улыбался ласково и снисходительно. Он тихо покачивал

головой, как будто жалея этого нервного и доброго юношу, который не понимает, что человеческая жизнь скучна, бедна и противна и что не все ли равно, где умереть — на войне или в путешествии, дома или в гнилой болотной трясине?

И когда Сердюков очнулся, то ему показалось, что он не спал, а только думал упорно и беспорядочно об этих вещах. На дворе уже начиналось утро. В тумане по-прежнему нельзя было ничего разобрать, но он был уже белого, молочного цвета и медленно колебался, как тяжелая, готовая подняться занавесь.

Сердюкову вдруг жадно, до страдания, захотелось увидеть солнце и вздохнуть ясным, чистым воздухом летнего утра. Он быстро оделся и вышел на крыльцо. Влажная волна густого едкого тумана, хлынув ему в рот, заставила его раскашляться. Низко нагибаясь, чтобы различить дорогу, Сердюков перебежал плотину и быстрыми шагами пошел вверх. Туман садился ему на лицо, смачивал усы и ресницы, чувствовался на губах, но с каждым шагом дышать становилось легче и легче. Точно карабкаясь из глубокой и сырой пропасти, взбежал, наконец, Сердюков на высокий песчаный бугор и задохнулся от прилива невыразимой радости. Туман лежал белой колыхающейся, бесконечною гладью у его ног, но над ним сияло голубое небо, шептались душистые зеленые ветви, а золотые лучи солнца звенели ликующим торжеством победы.

Ловкие приемы, фокусы (от нем, Kunststück).